

Андрей Дмитриев

Бухта Радости

Серия «Самое время!»

«Ты Бухту Радости, конечно, знаешь... Не знаешь? а зачем тогда живешь?..» — так неведомо откуда взявшийся однокашник заманивает на пикник главного героя романа Андрея Дмитриева. Но выясняется, что вытянули малахольного интеллигента Стремухина в этот адский оазис никакие не одноклассники, а четверо аферистов. По их плану Стремухина надо сперва напоить, потом — пугнуть. Он подпишет акт о продаже роскошной квартиры и останется ночью, без копейки, далеко от Москвы. Квартиру тотчас продадут (покупатель есть), круглую сумму разделят и разбегутся — каждый навстречу своей мечте. Но ничего не выйдет. Жизнь умнее планов, согласно которым люди — материал. (Материалом по теме называют Стремухина «одноклассники».) Но никаких «материалов» нет — есть люди, их судьбы, их соблазны, их тайны, их неодолимая тяга к радости.

«Ты Бухту Радости, конечно, знаешь... Не знаешь? а зачем тогда живешь?..» — так неведомо откуда взявшийся однокашник заманивает на пикник главного героя романа Андрея Дмитриева. И он бесспорно прав. Какой москвич не знает сумбурно-приветливой обители более-менее чистых нег, где все лето — лишь бы не было дождя! — орут магнитофоны, дымят мангалы, хрустят упаковки чипсов, звенят стаканы (впрочем, пластиковые не звенят), завязываются интригующие знакомства, выясняются отношения, шелестят купюры, скрипят уключины и раздается женский визг? Где же еще оттянуться, если тур в Италию только через две недели? Расслышать сквозь грохот магнитофонов, писк мобильных, урчание иномарок, треск крушимой мебели, рев ливня, каскады матюгов, истеричное хихиканье и подлинно мучительные стоны мелодию Шиллеровой оды, сохранить ее чистоту, гармонию и силу, построить на ней сверхплотный сегодняшний роман — это значит указать путь в волшебный край чудес, иначе — в Бухту Радости. Что Дмитриев и сделал.

Андрей НЕМЗЕР

Ему доверили — он и исполнил: сам выбрал, сам купил седло и ляжки двух баранов, разделал молодое мясо, неполных пять часов мариновал его, слегка добавив пряностей, в отжатом луке, и к пяти вечера, обремененный рюкзаком с большой кастрюлей шашлыка, готового к шампуру, явился на Речной вокзал. До отправления «ракеты» оставалось двадцать две минуты. Он их провел в открытом кафе возле девятого причала. Рюкзак с кастрюлей бережно поставил на соседний стул и, попивая бочковое пиво неизвестной марки, попеременно глядя на небо и на реку, не забывал коситься на рюкзак, боясь в последний миг о нем не вспомнить. Река плыла, не уплывая; она стремилась вдаль, на месте оставаясь, кружа немного голову. Корона солнца опадала на воду и с плеском разбивалась об нее. Пух перистых на нижних и тяжелых небесах слегка тревожил, поскольку был приметой непогоды, но сонные отары кучевых — там, высоко, на верхних легких небесах, ее, похоже, не сулили. Несильный ветер гладил реку против шерсти и обещал попридержать жару. Стремухин, допивая первую, в нос шибанувшую дрожжами кружку, медленным взглядом проводил баржу, груженную металлоломом. Металлолом был ржав и оскорблял зрение. Но было любопытно, кому нужна в этих пластах и сопках ржавчины, кто процветает, что ни день, куда-то там, кому-то там сбывая битое и мягкое железо. Стремухин мысленно прикинул и после — вслух пробормотал догадку, куда вот-вот уйдет баржа, уже наполовину скрывшаяся за белой вымытой кормой большого круизного теплохода «Щорс»: сперва до Волги по каналу, а там уж и по Волге, куда-нибудь в Самару, где потом, в самой Самаре ли, в Тольятти, из мертвого железа вновь выплавят живой металл, чтобы он стал, к примеру, кузовами автомобиля «Жигули» — то есть, по совести сказать, вновь стал металлоломом... Стремухин крикнул: мысль показалась остроумной. И крикнул вновь от удовольствия: впервые за последний, черный год мысль устремилась дальше смерти — аж до Самары устремилась мысль! Баржа ушла. Он заказал себе вторую кружку пива, но не успел допить ее до дна: прибывшая из Бухты Радости «ракета» закладывала разворот; пора вставать с пластмассового стула, подхватывать на спину рюкзак и отправляться на седьмой причал.

Там поджидала теплоход толпа в полсотни человек. И никого из тех, кому он вез кастрюлю с шашлыком, на причале не было. Они все едут, как сказали, на машинах. Ах, чудаки, как можно отказать себе в нечастой радости прогулки по воде! Он втиснулся в толпу — и сразу же причалила «ракета».

Спустившись, как и все, с тентовой палубы вниз, Стремухин не пошел в салон. Сел на открытой корме, посередине выкрашенной кобальтом скамьи-подковы. Рюкзак поставил в ногах, под скамью. Стал ждать, когда угомонится гул шагов по трапу. Подростки в черных стиранных футболках: жестянки с пивом и со спрайтом в татуированных руках; восторженные клерки с животами, с мячами и гитарами; дети с попкорном, родители с видеокамерами; пенсионеры с удочками; любовники всех возрастов — с самодовольною игрою предвкушений в теплых, плавных, плывущих в солнечных потоках, но и пристойно-виноватых молодых глазах; два-три робеющих и оттого громкоголосых иностранца — они гуськом спускались вниз по лестнице, лицом к Стремухину, в лицо ему не глядя, поклажей задевая за колени. Почти все они сворачивали в салон. На воздухе, бок о бок со Стремухиным, остались поначалу трое. Справа мостилась пара малолеток: рыжий и рыженькая, лет по пятнадцати обоим; как только сели — обнялись и тихо замерли, а слева сгорбился нестарый человек интеллигентной, а сказать вернее, респектабельной наружности, нарушенной, однако, следами двух ударов вскользь: легким ударом по губе и сильным — по скуле. Побитый человек глядел куда-то в даль, куда-то в сторону другого берега водохранилища, на новый желтенький таун-хауз, на старые и серые жилые башни за пристанью Захарково. Он бормотал свое, нервно отвинчивая и завинчивая вновь, и вновь отвинчивая крышечку уже початой стеклянной фляжки с коньяком.

Со скрежетом железа по железу матрос втащил трап на палубу; взревел мотор; «ракета» отвалила.

Стремухин сделал вдох. Сперва его лицо обдало, будто сальной ветошью, горелым маслом выхлопа, но вот вода в броске из-под кормы отбила дизельный вонючий дым; прокашлявшись, Стремухин наконец дождался удара ветра по лицу. Он молча ликовал, разинув ветру рот, раскрыв рубашку на груди и выпучив глаза. Минуты не прошло, как ветер вышиб слезы; казалось бы, они должны были иссякнуть все, не выплаканные, нет — такого, чтоб он плакал, ни разу не

было с ним в этот черный год, — но высушенные тупостью души и ежедневною усталостью без края, сменившей ужас первых дней болезни матери, и все еще, через полгода после похорон, не отпустившей душу до конца.

Все началось с его озноба, прошлым летом, через минуту после вылета российской сборной по футболу из розыгрыша Кубка мира; как только кончился злосчастный матч с бельгийцами, так сразу и зазнобило.

В холостяцкой квартире Стремухина градусника не нашлось, температуру он не мерил; да что там, как ему тогда казалось, было мерить; и без градусника все было ясно: ОРЗ! И он лечился, что ни день, простонародным верным средством собственного изготовления — настоянной на хрене водкой; лечился беспрестанно и усердно, да без толку. Смотреть финал чемпионата пошел к друзьям и сразу же признался им с порога: я, братцы вы мои, простужен, и знобит меня немилосердно. Друзья решительно сказали: «Вылечим!» — и пододвинули ему графин с простонародным верным средством: там была клюква на спирту — ее уже полвека именуют несмеяновкой. Весь матч и ночь после него Стремухин, не давая друзьям спать, лечился шумно несмеяновкой, а как пришел домой наутро, так сразу понял: что-то с ним не так. Озноб усилился, усугубился воробьиным трепыханьем сердца, и ноги не держали, и руки отнимались, и мутило, и перепуганной душе уже казалось, что пора на выход. Стремухин вызвонил по телефону мать.

Она приехала к нему с градусником и средствами от гриппа, всего за полчаса промчавшись на такси сквозь всю Москву.

Поставила ему градусник — и ртуть уверенно уперлась в тридцать шесть и семь. Вот тут они, и мать и сын, по-настоящему струхнули. Коль не простуда — что тогда? Мать позвонила в «скорую»: в бесплатную сперва, потом и в платную — везде отказывались ехать, потом, после ее криков и проклятий, вызов приняли, да все никак не ехали. Стремухин чувствовал себя все хуже, и страх его душил; настала ночь, и длилась, и давила тишиной; мать все названивала и названивала, кричала в трубку страшным шепотом, предполагая, что Стремухин спит...

Они явились за полночь: довольно юный врач и старый фельдшер в вязаном берете. Померили Стремухину давление — и тут все разъяснилось: оно допрыгнуло до ста пятидесяти.

«Ну, это не смертельно!» — враз успокоил юный врач, затем вкатил Стремухину из шприца но-шпу с димедролом, вколол в зад магнезию и пояснил матери, что, будь ее сын гипертоником, вообще бы не заметил ничего, ну а поскольку он мужик вполне здоровый и, видимо, впервые испытывший, как шалют сосуды с нервами — ему, конечно, сразу стало слишком худо. «Так это криз?» — спросила обреченно мать. «Да бросьте вы, какой там криз! Вегетососудистая дистония. Невроз, противно, но пустьак».

Стремухину немного полегчало, но врач и фельдшер не хотели уходить. Проверили давление у матери — оно зашкалило за двести. И ей чего-то там вкололи со словами: «Вот вы попсиховали, а вам, как видно, психовать нельзя. Ложитесь спать пока и больше не психуйте». Спросили, можно ль посидеть еще, немного отдохнуть и выпить чаю, а то замучили совсем ночные вызовы. «О да!» — проворно разрешил Стремухин.

Покуда он и фельдшер, отказавшийся от чая, тихонько разговаривали, им слышно было, как похлупывает ртом, побрякивает чайной ложечкой на кухне врач и как похрапывает мать в соседней комнате. «Вы много нервничали? Вы много выпивали?» — спрашивал шепотом фельдшер. «Ну, нет, я выпивал, пожалуй, и немного, пусть выпивал и каждый день, но нервничать пришлось». — «А что так, если не секрет?» — «Проблемы в личной жизни». — «Любовь?» — «Любовь».

Из благодарности чужому человеку за то, что тот сидит с ним среди ночи и караулит его страх, Стремухин опрометчиво пустился в такую откровенность, в том начал признаваться, о чем сейчас, под ветром, на корме, по большей части и не помнил, поскольку приучил себя не помнить. То есть почти все реплики того ночного разговора вспоминались, но нерв тех реплик был давно мертв: «...Вы вздыхаете — она к вам равнодушна?» — «Нет, говорит, что любит, и давно, но не желает за меня идти». — «Слабая женщина, боится совершить поступок?» — «Нет, сильная. Сильнее не встречал. Рыбный завод, совместно с норвежцами, цеха по всей Прибалтике, и это лишь начало». — «Гнездо себе свила?» — «Еще какое! Ни пылинки». — «Ну, значит, никогда к вам не уйдет — и не возьмет к себе. Сильные женщины боятся перемен — в этом их слабость. И оглянитесь вы, осмотритесь вы вокруг. Зачем ей ваша пыль?» — «Но почему она меня не бросит?» — «Вы украшаете ей жизнь, я полагаю. Сильные женщины так просто не бросают

украшений», — и что-то там еще, все в том же роде, и все тогда казалось важным; казалось, этот фельдшер — добрый бог, казалось, появившись он раньше и позволив он раньше выслушать себя — и не дошло бы дело до сосудов.

Мать все похрапывала за полуоткрытой дверью, врач все похлопывал на кухне чаем. Уютно было.

«Я вам совет хочу дать, — произнес вдруг фельдшер доверительно. — Не слушайте вы тех, кто говорит: нельзя опохмеляться. Опохмеляться надо обязательно, похмельны вы иль не похмельны. Не острыми напитками (так и сказал: не крепкими, но острыми — не оговоркой это прозвучало, но словно бы особенным словом особого сообщества пожилых фельдшеров), то есть — не водка и коньяк, а, скажем так, бутылки полторы, не больше, легкого русского пива. Не темного, но светлого. Это вам нужно для коронарных сосудов: они у вас наутро неизбежно сжаты; вы этого, быть может, и не чувствуете вовсе, и радуетесь, и, может быть, гордитесь, что похмелья нет — а надо, надо их разжать. Иначе вы помаленечку да полегонечку, но непременно вгоните себя в ишемию... Легкое светлое пиво! Легкое светлое пиво!»

Вот на словах о легком светлом пиве и приоткрылась, скрипнув, дверь. В комнату заглянул врач. Стремухин так старательно вбирал в себя советы фельдшера, что поначалу пропустил мимо ушей слова врача:

«Не нравится мне, как она дышит». Фельдшер встал со стула и быстро вышел следом за врачом.

Почти задремывая, Стремухин вежливо прислушивался, как они там к ней прислушиваются, и что они себе бормочут. Он был обдолбан димедролом, он спать хотел, он ждал уже, когда его оставят все в покое, и потому не испугался, когда услышал: врач набирает номер телефона и строгим голосом велит водителю вернуться срочно.

«Мы увезем ее. Проспитесь, позвоним», — вновь скрипнув дверью, сказал врач.

Стремухин долго спал и был разбужен среди дня звонком другого, незнакомого врача из Первой градской, и тот сказал ему: «Инсульт».

Стремухин бросился на Ленинский. Мать была безмолвна и бездвижна, но жива. Через неделю он забрал ее к себе и был сиделкою при ней полгода.

Он никого с тех пор не видел, кроме матери, кроме ее всегда глядящих мимо и словно бы стеклянных непрозрачных глаз; он ничего не слышал, кроме ее похрапывания, такого

ровного, что никогда нельзя было понять, спит она или о чем-то думает. Он так и не узнал, могла ли она думать. Хотелось думать, что могла. Он говорил с ней беспрестанно и убедил себя, что она слышит: он пел ей по утрам репертуар ее любимого Вертинского, потом и Козина, по вечерам он с выражением читал ей, словно возвращая, сказки, которые она читала ему в детстве, ворчал ночами, склоняясь над работой, а днем громко ругался, управляясь с пылесосом.

Суждение фельдшера о *пыли* застряло в сердце; мысль о любви, как только приходила, всегда вдруг упиралась в пыль, столбом стоявшую в квартире. И всякий раз, едва подумав о своей любви, Стремухин брался за пылесос. Гудел пылесос, гудел одышливо Стремухин: *«Ты укатила в Осло по делам своих лососей и коптилен, а я тут, как в гробу, и все меняю маме памперсы»*. Он скреб насадкой пылесоса по углам, по антресолям, по плинтусам и все ворчливо извинялся перед матерью, которую, как он хотел бы быть уверен, гул пылесоса должен был тревожить, но мать ничем тревоги не выказывала — так и глядела, как всегда теперь глядела, своими словно бы фаянсовыми глазами куда-то мимо пыли, мимо сына, мимо окон.

Все это кончилось в ночи на Рождество с ее последним вздохом.

Не было больше взгляда мимо, не было взрослых памперсов, исчезла даже пыль, забрав с собой все мысли о любви, что с нею, с пылью, слиплись и сваялись. Образовалась пустота, но и она была ничто в сравнении с морозной дырой в стене Хамовнического колумбария. Стремухин обзвонил все бывшие места работы матери: библиотеку, ПТУ, редакцию журнала цветоводов. В библиотеке новые библиотечарши ее не помнили, а старых не осталось; по телефону ПТУ автоответчиком ответил фитнес-клуб; журнал давно почил, в его особняке сидели продавцы искусственных каминов. Он перебрал все номера из телефонной книжки матери и, набирая номер каждый раз, не спрашивал уже, туда ли он попал и с тем ли говорит, а сразу сообщал неведомо кому об ее смерти и о дне кремации.

В тот день в голой и гладкой скорлупе ритуального зала, в постыдной пустоте вокруг тележки, уезжающей в невидимый огонь, он вдруг впервые понял, как одинока была мать. И смерть, и ледяной сквозняк, ползущий из входной двери, и астматический, пустынный сип органа, и скучный гулкий голос ритуальной дамы в норковой ушанке набекрень — все это было продолжением, верней сказать, куда как внятным и

отчетливым итогом материнского одиночества. Столь очевидное, казалось бы, и при ее жизни, оно застало Стремухина врасплох, как внезапная весть. Скрип обуви неведомых людей не скрадывал, наоборот, усугублял переживание пустоты: две-три старухи в летних ситцевых платках, какой-то лысый красный дядька, мнувший в руках фуражку без кокарды; какой-то взрослый мальчик с прозрачной и шевелящейся на сквозняке бородкой, что-то влажно и неслышно шевелящий мокрыми губами, — верней всего кладбищенские приживалы, что кормятся или спасаются от скуки при любых похоронах, — они осанисто вздыхали, встречаясь взглядом со Стремухиным, но и дистанцию держали деликатно, не подходили и не затевали разговор. К нему вообще никто не подошел — знакомых матери, похоже, в зале не было. Своих друзей, Киряевых, Скудельных и Доринского, Стремухин не позвал и ни о чем не извещал: никто из них не объявился у него ни разу, они лишь с вежливой, пристойной регулярностью поохивали по телефону; он больше знать их не хотел. Об Осло он не вспомнил за ненадобностью.

Короткий ритуал был завершен. Орган вверх умолк на долгом сиплом выдохе; спустя мгновение тишины орган, опять надувшись, вновь задышал слабыми регистрами; чужая тихая толпа, черной волной нахлынув в зал, внесла свой гроб. Стремухин выбежал на воздух. Купил в ближайшем магазине литр водки и, вняв порыву, отправился в дом матери на Беговую.

Там он открыл все форточки. Должно быть, суп, что мать себе сварила перед выходом из дома, весь ссохся струпьями в кастрюле; снесь в холодильнике, давно отгнив, засохла. Стремухин выбросил кастрюлю в мусорный мешок, туда же выскреб холодильник. Квартира быстро выстудилась, но Стремухин не торопился захлопывать форточки. Нашел стакан, обросший пылью, всхлипнул, отмыл его под зачихавшим ржавой водой кухонным краном, наполнил водкой и, не снимая куртки, двумя глотками помянул мать. Налил еще, на этот раз до половины, и перебрался в гостиную. Открыл тумбу от ножной швейной машинки: там вместо «Зингера», давно отправленного на помойку, хранился архив матери.

Стремухин вывалил из тумбы на пол картонные папки, взял наугад первую из них и распустил тесемки. Папка раскрылась, и содержимое ее, не удержавшись у него в руках, лавиной расплозлось по полу.

Все эти вороха бумажек и бумаг: клочки, листочки, пачечки, скрепленные железной скрепкой; черновики и копии анкет; все эти заявления в профком, в партком, в местком, в ссудную кассу; все эти глянцевые грамотки за честный труд; всякая справка из собеса, любая театральная программка или приглашенный билет, любая измочаленная, исчерканная вдоль и поперек записная книжечка; блокнотик; квитанции из прачечной, химчистки, из обувного ателье, из ателье одежды; счета за свет, за газ, счета за телефон, открытки «С праздником!» и телеграммы «С днем рождения!»; его, Стремухина, дошкольные рисунки с лошадками, машинками и домиками, и с непременно дымом из трубы; все его десять школьных дневников за десять классов, со всеми двойками, со всеми едкими и, ох как понимал теперь Стремухин, ох и обидными гордыне матери замечаниями училок («В английском может преуспеть. К примеру, понимает: слово “transport” по-русски означает “транспорт”»), — все это больше не имело никакого применения, и повседневной связью матери с пространством жизни больше не было, и памятью о ней стать не могло; все эти медицинские рецепты и вся история болезней, умерших вместе с матерью и вместе с ее телом ставших пеплом: диагнозы все эти, эпикризы, больничные листы и направления на процедуры, все, как один, заверенные штампами и штемпелями, — все эти штампы не имели больше силы, и направления лишились цели, все эти ровные, сухие описания физических страданий матери лишились содержания и смысла больше не имели, но, смысл утратив, невесомее не стали, напротив, оседали в сердце сына непривычной сердцу тяжестью... Стремухин выпил водки, сгреб с пола хлам из папки и, следом за кастрюлей и содержимым холодильника, отправил его в мусорный мешок. Прежде чем взяться за тесемки следующей папки, он выпил вновь. Тесемки просто так не поддались; он развязал зубами старый узел.

Теперь пол был усеян письмами. Сперва подробно, после — поверх строк, потом и вовсе перепрыгивая, как через застарелые и не желающие сохнуть лужи, через осадки, взвеси чужих жизней, читал он письма всяческой родни, ему по большей части незнакомой и ненужной. Не прочитав и малой части, сгреб письма в папку и отложил ее, уже решившись ее выбросить, но не решаясь сделать это сразу.

И в третьей папке были письма: две толстые, крест-накрест перевязанные пачки. Первую пачку, едва узнав свой почерк на конвертах, Стремухин оставил, как была, нетронутой.

Вторую развязал. Там оказалось то, чего Стремухин уж никак не думал обнаружить, — письма отца. Он и предположить не мог, что переписка между матерью и тем человеком велась всю жизнь. Стремухин раньше никогда не видел ни одного изображения отца — в той пачке оказался и конверт с его фотографиями. Отец из писем и на фото ничуть не походил на самого себя, каким его в воображении Стремухина создала мать: «Ты сутулишься, как *тот человек*. Держи спину прямо», «*Тот человек* тоже спал на уроках», «Тот человек, как ты, не прочь был выпить с перебором», «Ты такой же красавчик, как *тот человек*, и потому невнимателен к окружающим», «Тебе нельзя водить автомобиль, ты чудовищно рассеянный всегда, как *тот человек*», «Ты безответственен, как *тот человек*, и потому повремени жениться», «Ты балабол, как *тот человек*: ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля; пора и помолчать», «Ты хочешь поступать в Полиграфический? Авантюрист, как *тот человек*», и, наконец: «Ты б причесался: голова, как войлок, ты у меня попомни, скоро будут колтуны, как у *того человека*» — почти всю жизнь, с тех пор как себя помнил, Стремухин представлял отца развинченным, смазливym вертопрахом с нечесаной и клочной шевелюрой, с бессмысленной улыбкой на губах, как бы под кайфом, но и обаятельным, и в окружении красивых женщин.

На фотографиях из материнского архива отец был грузным, лысым, доверху застегнутым, довольно хмурым мужиком в круглых очках в толстой оправе. Таким он был на общих фотографиях с неправдоподобно юной матерью, которая тогда и матерью еще не стала. Таким он был на фотографиях недавних, которые зачем-то присылал. В письмах отец был основателен; написанные четко и почти печатными, квадратными буквами, они полны были подробнейших, по пунктам перечисленных, советов: как жить, как не болеть и чем питаться, что следует давать читать ребенку, а что читать, пожалуй, рановато («Взрослые книги читать можно, литературу философского и прочего подобного содержания давай ему умеренно, “Махабхарату” — ни за что. “Махабхарата”, говорю тебе, Елена, — первый шаг к серьезным нарушениям психики. Я бы и взрослым не советовал»), как реагировать на непослушание («...ни в коем случае — ремень! Самое сильное наказание, какое можешь ты себе позволить, — дать недвусмысленно понять ему, как ты, Елена, на него обижена»), — припоминая прожитое, Стремухин признавал:

так и питались они с матерью, как, втайне от него, издалека велел отец, так и лечились, как отец предписывал, так и воспитывала его она, так и наказывала — слезами и гримасами обиды, но никогда — ремнем. Вдруг ему стало ясно: мать слушалась отца, с которым никогда не состояла в браке, во всем и уважала, стало быть, и даже слишком уважала, всю свою жизнь — тогда к чему *«тот человек»*? Зачем лепить в воображении ребенка вертопраха? Зачем утаивать общение по переписке и прятать в тумбу фотографии?

Последнее письмо пришло в девяносто девятом, не от него уже, а от вдовы. Еще в конверте были: две ксерокопии свидетельства о смерти и стопка фотографий с похорон, столь же пустынных похорон, по снимкам судя, как и похороны матери; на мать Стремухина, по тем же снимкам судя, вдова отца была чуть-чуть похожа.

Вдова писала: «Мне тяжело было думать о Вас всю жизнь, и то, что он когда-то с Вами изменил и даже сделал Вам ребенка, и что он Вам все время пишет. Но я его давно простила, на Вас зла не держала, жалела даже, и горе у нас теперь общее».

Каких-либо сыновних чувств к отцу, которого ни разу не видал, Стремухин за собой не замечал и никогда о нем не любопытствовал, быть может, любопытства и побаиваясь, но тут, узнав впервые и о подлинном его, пусть приблизительном и внешнем, образе, и об его незримом, слишком поздно обнаруженном присутствии в своей судьбе, а следом, не успев перевести дыхание, узнав и об его недавней смерти — вдруг испытал подобие обиды. Могла мать и сказать, а не сказала. Могла б и поделиться с сыном — не решилась; на ум непрошенно пришло: «не соизволила», — Стремухин, устыдясь, прогнал это словцо. Тут налицо была загадка. Стремухин разгадать ее не мог. Сказать вернее, не спешил. Он допускал: разгадка может быть проста (к примеру: мать молчала обо всем, чтоб не тревожить душу сына), и простота отгадки, пожалуй, успокоила б его, но он предчувствовал: если окажется все просто, будет досадно. Сложность могла бы искупить боль, непостижимость — оправдать его ежевечернее изнурение родительскими письмами друг другу, настолько сильное, что более полутора часов подряд Стремухин с ними не выдерживал. Еще ему заманчивым казалось: разгадывая жизнь родителей, осмыслить жизнь вообще, узнать в ней и понять такое, чего никто еще не знал, чего никто пока не понимает.

Неподалеку от его жилья, на улице Болотниковской, жил, пил, творил и трижды в день выгуливал собаку когда-то именитый литератор Сицилатов; Стремухин хорошо знал расписание и все маршруты выгула писательского пса. Однажды вышел на пустырь в начале Керченской, писателю и псу навстречу. Неодобрительно косясь на идиота-добермана, спросил у Сицилатова совета: с какого боку взяться за перо?

«Мутная штука жизнь, — сказал ему писатель. — Иной раз лучше в этот ил и не заглядывать. Если ж решился, то, брат, с какого боку ни возмись, советую носить в себе, а не выбалтывать». — «Сопрут сюжет», — ревниво подсказал Стремухин. «Зачем мне ваш сюжет? Мне б со своими разобраться. — устало отозвался Сицилатов. И разъяснил: — Когда болтаешь о сюжете — о нем не мыслишь, попросту забалтываешь. Он с болтовней вытряхивается. Хотите написать, хотите сбросить груз — держите груз в себе до последней возможности. Вы, кстати, точно ли хотите это написать?»

Стремухин сразу понял, что писать, пожалуй, и не хочет, но точно хочет сбросить груз. На самом деле он устал думать о мертвых. Чтобы не думать, он снова взялся за настойку хрена, и пил ее, уже без осложнений, почти полгода, покуда не пришла пора вступить в наследство.

Нотариальная контора, куда он, как положено, направил заявление о праве на наследство, советовала сбор бумаг доверить юридической консультации, расположившейся дверь в дверь, и поручилась за ее надежность. Стремухин было и последовал совету, но испугался суммы, которую юристы запросили за услуги. Он никогда не знал достатка, и потому, отвергнув здравый смысл, сказал юристам сдавленно: «Пожалуй, я денек еще подумаю», — и поспешил сорваться с их крючка. Чтоб самому пойти по кругу учреждений и контор, томиться чтобы в толпах у окошек и дверей с казенными табличками, следить за прохождением бумаг и путаться в их очередности — о том он все ж не помышлял. В газете «Рука об руку» увидел объявление: «*Услуги стряпчего: развод, раздел имущества, наследство*». Его расположило слово «стряпчий».

Им называл себя довольно молодой и аккуратный человек по имени Савелий. Брал он немного, чуть не вдвое меньше, чем контора: всего лишь триста пятьдесят зеленых. Стремухин нервничал при встрече, но строгость этого Савелия и обстоятельность его ответов по существу и всем

деталю дела, его подробные рассказы о себе (окончил юридический, заочный, был следователем в районной прокуратуре, с трудом ушел, с трудом нашел доброжелателя в коллегии московских адвокатов, куда так просто не попасть, и только-только пробует себя на этом поприще), его визитка с адресом и всеми телефонами — внушали, в общем-то, доверие. Тем более что плату за услуги Савелий был готов затребовать лишь по вступлении клиента во владение наследством.

Мать не имела сбережений. Наследством значилась ее квартира на Беговой: почти и без вещей, зато трехкомнатная, под девяносто метров жилой площади, с обширной кухней, с эркером, под потолком на высоте четырех метров; все, правда, портил шум запруженной машинами проезжей части за окном; зато хорош был вид на ипподром. И часто, уставая читать письма с того света на тот свет, Стремухин подходил к окну, и сквозь автомобильное угрюмое нытье к нему летел вдруг сдвоенный удар стартового колокола, потом накатывали голоса трибун; они манили его, будто волны моря, — то были голоса иной, живой, не горькой жизни, пусть игроком он не был и позыва поставить на *Медиану* иль *Кейптауна* не испытывал ни разу.

В конце июня позвонил Савелий, сказал, что все готово. Стремухин пригласил его на Беговую. Он угостил Савелия настойкой хрена, тот пригубил ее из вежливости, обжегши губы. Деликатно увлажнил их кончиком языка. Предъявил Стремухину к оплате стопку квитанций — все пошлины, что сам вносил в Сбербанк по ходу дела, чтоб зря клиента не тревожить. Стремухин изучил квитанции и добавил, сколько было нужно, денег в приготовленный конверт с гонораром. Савелий спросил у Стремухина, как тот решил распорядиться квартирой. Если намерен продавать, то он готов помочь, как помогал и до сих пор. Стремухин, не потратив и секунды на раздумье, уверенно сказал, что собирается в этой квартире жить, ну а свою, возле метро «Нахимовский проспект», будет сдавать; и наниматель есть, уже пыхтит от нетерпения. Савелий не расстроился, напротив: «Еще бы, ваше детство! — он с пониманием обвел глазами гэдээровскую мебель, потом воздел их к потолку: — Оно, я понимаю, прошло здесь?». Стремухин молча это подтвердил. Савелий весь размяк: «Как это хорошо, как хорошо!». На том расстались.

Едва закрыв дверь за Савелием, Стремухин встал под душ и долго силился отмыться от чувства неопрятности. Не мог он сам себе толково объяснить, зачем соврал Савелию. Он ведь

давно решил эту квартиру продавать. Свою ж берлогу на Одесской он любил и расставаться с ней не собирался. Струя гудела, пар стоял, Стремухин мял в руках изношенную губку и пробовал понять, зачем соврал: в том, чтоб продать квартиру матери, ни для кого, тем более для стряпчего, не было ничего предосудительного. Вышел из душа мокрый и увидел на столе одно из мучительных писем — его он перечитывал в ту самую минуту, когда Савелий позвонил в дверь. Отец в этом письме спешил обрадовать: он получил получку и готов немедля выслать деньги на цветной телевизор, но — при одном условии: чтоб непременно куплен был «Рекорд»: «Воронежское производство, — самое надежное, ты мне поверь, Елена, мне об этом говорили многие специалисты в электронном деле. Куда там пресловутым “Грюндигам”! Неплох еще “Шилялис”, который делают литовцы, но у “Шилялиса” уж очень маленький экран, а это вредно для зрения. Цена “Рекорда” — ни дорого, ни дешево, но дело даже не в цене. А дело в том, что по размерам он не слишком уж громоздкий, но и не маленький. Мне говорили, что у вас в Москве, на Ленинском проспекте, есть магазин, где этот телевизор можно взять, и не записываясь в очередь. Лучше всего поставить его в эркере, в углу у подоконника, так, чтобы солнце с Беговой не падало на экран». Там, в эркере, и простоял этот «Рекорд» лет двадцать. Экран его с годами все же выцвел; цветной «Рекорд» стал черно-белым. Разговаривая с Савелием, Стремухин мельком на экран поглядывал и успевал увидеть в нем свое нечеткое и сумеречное отражение. «Быть может, не остыв еще от чтения письма о телевизоре, я вдруг взглянул на телевизор, и потому вопрос Савелия меня смутил, и я соврал», — так смутно разрешил свое недоумение Стремухин, перерывая в поисках полотенца содержимое шкафов.

Все эти платья, блузки, пиджаки, пальто с воротниками из цигейки, пододеяльники и простыни он, увязав в узлы, отвез в церковь Бориса и Глеба на Перекопской, чтоб их раздали нищим. Поп узел посохом разворошил, особой радости не выказал, но и одобрил. Квартиру, попав в бум, Стремухин продал дорого и быстро. В депозитарии Сбербанка, что на Малой Дмитровке, он запер сто семьдесят пять тысяч долларов наличными. И для начала при себе оставил ровно десять тысяч на расходы.

Настал июль, и были деньги. Настала жизнь, и нужно было к ней вернуться. Стремухин не знал, как. Письма родителей он перевез к себе на Одесскую, сунул в чулан и больше не

читал. С тех пор он думал только об одном — как перестать о них думать, поскольку мысль о них, да и любая мысль, всегда упрямо возвращалась в мысль о смерти, как если бы он все еще обязан был о смерти думать, как если бы оставались обязательства, которыми он был повязан с этой мыслью. Весь год границы обязательств были нерушимы. И вот границ не стало, но пограничник не желал уйти с дороги. Была тоска по жизни, была и жажда своеволия, и наготове были деньги, которые могли бы эту жажду утолить, но мысль о смерти, ничего уже не требуя, жила в нем наглой приживалкой и выедала волю. Стремухин впал в хандру. Душа была тупа и даже алкоголь не принимала. Тут начались звонки из Осло, со слезами и вопросами. Стремухин отвечал сухо. Однако же и вспомнил: в мире много заграницы, для того Богом и выдуманной, чтобы лечить от перепрелых мыслей. Купил, покорствуя рекламе, два двухнедельных тура: на август в Чехию и на вторую половину сентября в Италию и тотчас же о Чехии с Италией забыл. Решал, как быть с июлем. В Москве стояла жара, и в воздухе стояла пыль. Хотелось влаги и прохлады, свежего ветра. И вот однажды, когда он вяло перелистывал журнал «Досуг и отдых», пытаясь сделать выбор между турбазой на Байкале и пансионатом на Валдае, его отвлек звонок по телефону. Голос был женский, настороженно-взволнованный: «Ты узнаешь меня, Стремуха?»...

Он не узнал, но голос не обиделся. Щипцова Александра, учились вместе в школе, Стремухин в «А», Щипцова в «Б». Стремухин сделал вид, что вспомнил, хотя не помнил даже одноклассников из «А» — чего и говорить о «Б» и «В»!

«...А я звонила тебе на Беговую. Там подошел какой-то молдаван, сказал, что там ремонт и нет хозяина... Но ничего, нашла вот этот номер. Спасибо Мосгорсправке...»

Внезапно в трубке что-то зашуршало, послышалась возня, встрял бас: «Ты дело, дело говори... — Затем бас завладел трубкой и трубно задышал в нее: — Короче, так, старик, чего бы нам не встретиться?.. У Александры день рождения, я и забыл, она мне позвонила, теперь тебе звонит, и мы теперь звоним всем нашим. Пока немногих прозвонили, но десять гавриков добудем. Короче, так, старик, пусть будет что-то вроде встречи одноклассников, пусть мы из параллельных классов, но через столько лет — какая разница: из параллельных, из перпендикулярных? Ты как, вообще, не против?»

Он был не против больше по безволию, хотя и не тянуло

пить с полужнакомыми, а если честным быть, и вовсе незнакомыми людьми.

«Отлично, значит, и тебя считаем... Ты Бухту Радости, конечно, знаешь... Не знаешь? А зачем тогда живешь?.. Короче, это Пироговское водохранилище, считай, что Клязьминское, то есть дальше Химкинского. Мы едем на машинах, в среду, от метро “Медведково”. Встречаемся в пять ровно».

Стремухин, все еще пытаясь отвертеться, поныл, что до Медведково, да по такой жаре, ему, пожалуй, будет в лом...

«Ну можешь на кораблике, от Речного вокзала. “Ракета” на подводных крыльях; домчит тебя минут за сорок... Добудем расписание и перезвьякнем... Ты, кстати, как, шашлык умеешь делать? Ты же умел, ты помнишь поход в Софрино?»

Стремухин уточнил: «Тогда я не умел. Сейчас как раз умею».

Он смутно помнил: был поход, классе в седьмом или в восьмом, вот только в Софрино тогда ходили или еще куда и делал ли он там шашлык — не помнил совершенно, но память понукать не стал: другие помнят, ну и ладно.

Бас все крепчал: «Тогда ты делаешь шашлык. На десять человеческих персон. Ну, на двенадцать максимум. Считай, что мы тебе доверили, так что исполни. А деньги мы тебе вернем».

Стремухин возразил: «При чем тут деньги! Шашлык — за мной. За вами — зелень и вино, и шампур, конечно»...

Потом они еще перезвонили, сказали: подходящий рейс — в пять двадцать пять. Пообещали встретить в Бухте на причале.

В мясных рядах Черемушкинского рынка Стремухин спохватился: забыл спросить того баса, как его звать. Прицениваясь к ляжкам и седлу, утешился: да так ли это важно! Тот бас был голос жизни, вот что важно, и это стало ясно, как только бас сказал: «*кораблик*». Стремухин с детства не катался на кораблике; и, с удовольствием разделявая мясо, он с детским нетерпением предвкушал и представлял себе удары ветра по лицу и плеск воды, и плавное движение берегов. Он даже пел. Руками отжимал в кастрюлю лук и перемешивал куски парной баранины, подобранные так, что ешь их хоть сырыми.

Вот так Стремухин, в прошлом старший редактор издательства «Советский мыслитель», теперь редактор на свободе, на договорах с четырьмя издательствами кряду, и оказался на корме теплохода типа «ракета» — с кастрюлей

шашлыка в ногах, с полубезумной жаждой радости в глазах.

«Ракета», вдруг взревев и вздевши нос так круто, что приподнялся пол и на корме, взяла разбег. Стремухин обернулся напоследок. Игла с пятиконечною звездой на узкой башне Речного вокзала напомнила ему иглу на столь же узкой, с узкими колоннами, башне ипподрома; и все, что было пережито, вновь попыталось прирасти к душе там, где душа еще не зарубцевалась; Стремухин рассердился на пережитое, перед которым больше не считал себя в долгу, и, не оглядываясь больше, стал смотреть по сторонам.

Обзору мешали соседи, не по скамье (сидящий слева пил коньяк, уже склоняясь головой едва ли не к коленям; прилипшие друг к другу малолетки справа — словно выросли в скамью), но те, что встали по краям скамьи возле бортов. Особенно мешал старик возле левого борта; его голова была схвачена носовым платком, стянутым по кругу узелками: он все не мог на месте устоять, беспрестанно то качался, то слонялся взад-вперед и застил вид. В руке у старика была складная старая бамбуковая удочка, в другой руке — дюралевый бидон, а на плечах его, как если б не было жары, — брезентовая плащ-палатка, которая все хлопала и раскрывалась, словно парус, на ветру. Стремухин перевел взгляд на правый борт. Там курили, сплевывая в воду и зажав пивные банки в кулаках, подростки (в салоне, где они обосновались, курить было нельзя) в линялых черных майках. Поверх их стриженных голов поплыли, стоя у причалов, громады лайнеров, плыла и золотая вязь надписей на белых, словно облако, бортах: и «Александр Блок», и «Карл Маркс», и «Алексей Толстой» — затем взметнулись к небу горы ржавого металла, потом — деревья, башенные краны; подростки докурили и ушли шуметь в салон; зазеленел на берегу кустарник, за ним качались белые и голубые башни новостроек. На небо наплыла бетонная эстакада Ленинградского шоссе, наслала полутьму, но через миг «ракету» снова окатило ярким светом. Водохранилище раздалось вширь; на берегах желтело загорающее население, и кто-то, розовый среди желтых, махнул Стремухину рукой; Стремухин замахал ему в ответ. Матрос со связками билетов встал над Стремухиным. Стремухин заплатил тридцать рублей; рыжий и рыженькая справа так долго рылись по карманам, что он с трудом унял в себе желание заплатить и за них. «Ракета» проскользнула в узкое горло канала, сразу сбросила скорость и скоро пристала к берегу. Матрос

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.